

не было такого змелычака парубка, который бы отважился насильно поцеловать ее.

Да, Катруня знает себе цену, она не любит таких вольностей и никому не дает на то повадки; и однако нашелся все-таки в станице такой герой-парубок, на которого и у Катруни не поднимается рука. Впрочем, если говорить правду, то изредка и на него поднимается, но разве только для того, чтобы обвить его шею и подставить ватем свой пухлый ротик для горячих, жарких поцелуев.

Но кто же такой этот избранник Катруни? И чем мог пленить он неприступное сердечко этой бойкой и красивой девушки? О, это не обычный парубок, казак бынает много везде и всюду: это орел-казак, сумевший в девятнадцать лет стать известным на всю станицу. И вот эта чистая сердцем девушка, еще не знавшая, что такое любовь, не могла потом оставаться спокойной и равнодушной, увидевши такого статного молодца, с богатырской грудью, со взглядом сокола, о котором так много стали говорить в последнее время все ее подруги. Но он живет далеко, на другом конце станицы, и она его прежде совсем не знала; и только в минувшем году увидела первый раз на станичных скачках.

Но кто он такой? Это молодой Василько Паливода, сидач и неустрашимый джигит и наездник, ваявший на станичных скачках уже два первых приза.

Давно уже повелось так на Кубани и вошло повсеместно в обычай, что каждую весну в станицах устраиваются скачки для казаков-малолетков*) и всякая станица очень гордится своими лучшими джигитами и наездниками. Когда же происходят самые скачки и все жители станицы выйдут на них смотреть, то это зрелище чрезвычайно всех захватывает, приводит в восторг и возбуждение: ни один старик, глядя на молодецкую удачу джигитов, не может устоять спокойно на месте и с каждой минутой все более, все сильнее разгорается старое казачье сердце, а острая память живо рисует и напоминает былые картины его собственной

*) Казаки-подростки (парубки) от 17 до 19 лет.

лихости и молодчества; ни одна женщина, старая она или молодца, не может также быть спокойной зрительницей этой пролетающей мимо нее на конях орлиной молодежи, ясно припоминает лучшее время своей жизни и казака-героя, покорившего когда-то ее сердце. А дивчата — о, эти дивчата! Нужно быть очевидцем, чтобы наблюдать, как они на скачках ведут себя: не отрываясь ничем не отвлекаясь, они смотрят во все глаза и не могут вдоволь наглядеться на эту так захватывающую картину, тогда как девичье сердечко, словно пойманный воробушек, колотится у каждой в груди, готовое совсем оттуда выпрыгнуть.

И, наверное, есть на что здесь посмотреть. Ведь все эти станичные дивчата не какие-нибудь изнеженные городские девицы, никогда не видавшие лихой казачьей езды. Каждая из них всегда способна, когда нужно, вскочить на любую неоседланную лошадь и пронестись вскачь не одну версту по широкой степи, держась только за лошадиную гриву. Да и ядесь на самых скачках, многие из них не побоялись бы сесть в седло и, взявши повода в крепкую, умелую руку, не хуже казака пронестись бы в карьер перед этой многочисленной толпой зрителей. Однако, лететь на всем скаку через эти непреодолимые, казалось бы, препятствия, соскакать с коня и опять на него взлетать, падать вниз головой, становиться вверх ногами и проделывать другие еще более удивительные номера казачьей джигитозки — нет, все это даже крепких нервами и сильных телом дивчат приводит иногда в испуг и забирает часто вскрикнуть.

Вот здесь-то, на этих скачках, куда обычно съезжаются лучшие джигиты, избранные от трех соседних станиц, на доморослых, особо воспитанных и выученных кровных лошадях, в куда сходится посмотреть решительно вся станичная молодежь, именно здесь, больше чем где-либо, окончательно покоряется сердце молоденькой дивчины-казачки.

Так точно и сердечко черноокой Катруни, бывшее до того спокойным и для всех неприступным, было внезапно покорено и завоевано на таких скачках, а случилось это в минувшем году, на пятый день Пасхи.

Санжа Балыков.

По Дону.

Хорошо плыть по Дону в жаркий летний день!.. Небольшой, чистенький пароходик „Пустовойтов“ шустро режет тихую, широкую речную гладь. Прохладный, мягкий ветерок приятно ласкает лица пассажиров на палубе под парусиновым шатром. Живописные, ровные берега, обрамленные то кустами красноплода, то садами и огородами, то ветлами, там и сям раскиданными по берегу, с хуторами и станицами, привольно расбросанными то по самому берегу, то по далекому, просторному, степному горизонту, разворачивают перед взором родные картины.

Против каждой станицы пристань: два толстых, в обхват, столба, врытых глубоко в землю, деревянные сходни, досчатый сарайчик — конторка и растянувшийся ряд станичных торговков, вынесших „к пароходу“ лучшие изделия чистой, сытной, вкусной, станичной кухни. Тут все: жареные сазаны, куски баранины, жареные утки, куры, малосольные, пахучие огурцы, всевозможные вареники, пирожки, молоко, сметана, мягкий белый хлеб, яйца вкрутую, чудное кислое молоко в мяхоточках... Все это на фоне громадных, белых „Царипыньских“ и мелких, темнозеленых „Ажиновских“ арбузных куч и пряных ярко-желтых, серо-зеленых дынь...

Пассажирам всех классов не сидится в каютах. Все целый день толпятся на палубе, все перезнакомились и громко болтают. Молодой помощник капитана парохода то и дело пронзительным гудком сирены пугает пришедших на водопой стада коров и небольшие косяки станичных лошадей и тем потешает молодую судовую фельдшерницу, которая, жеманно кокетничая с ним, вот уже второй день, не читая, носит в руке томик Чехова.

Мне, единственному калмыку на пароходе, одиноко сидящему среди незнакомых лиц, еще ни с кем не познакомившемуся, так и хочется подойти и попросить у нее, дайте, мол, сестрица, вашу книжечку, ведь вам не до этого. А ведь могла бы дать, думается мне, такая она молоденькая и хорошенькая, что не представляешь, что она может отказать дать книгу. Но я не делаю этого.

Наконец, длинный день кончается, после Цымлы, все пассажиры идут по местам спать и тут-то я особенно начинаю чувствовать себя скверно: На мне, кроме гимнастерки, ничего нет, а спать на палубе, не имея ничего ни под собой, ни над собой, в прохладную ночь на речке не ахти как. Приходится вертеться возле трубы.

Вдруг, прерывая мою полудремоту, раздается надо мной: — Здорово станичник, какой станицы!?

Передо мной, в сером ватном кафтани в распахку, в полинялом казачьем картузе блином, в пожелтевших черной шерсти шароварах с лампасами и в чириках поверх домашней работы белых носков, стоял старый-лет за пятьдесят, казак.

— Здравствуйте, я Денисовской станицы, — отвечал я.

— Цебека Мангатова знаешь?

— Знаю, мой сосед.

— Ну, как он, здоров? — постарел небось, двадцать пять лет уже не видел его, а был он мой лучший друг в полку, на одних нарах спали... Лихой был урядник. Ты что же не спишь — заговорил, видимо, словоохотливый старик.

Холодно, укрыться ничем, — говорю.

— Ну, так иди ко мне, под моим кафтаном будем спать. Я встал и молча последовал за ним. Привел он меня в уголок няжней палубы, где, среди кучи веревок, каких-то цепей и ящиков, была разостлана белая полстилка.

— Вот мой кош, ложись — скомандовал он мне, указывая на постель. Да ты кушал, что-нибудь, — истрепелуся он вдруг.

— Да нет, денеги вышлв, но выдержу. Ничего утром высаживаюсь в Романовской...

— Так на, с'ешь вот это, оно будет получше. С этими словами вынул казак из кармана сверток и протянул мне. Там оказался кусок вкусной, вареной колбасы, домашней работы, и кусок хлебной корки.

Я с благодарностью взял и начал уписывать.

— Подкормил тебя, надо же и напоить, — на, выпей всю, оставил на утро, да уж не стойт, — проговорил он, протягивая мне большую черную бутылку, наполовину с вином.

— Оно не старое, прошлогоднее голько, старого жинка не дала на дорогу, — заметил казак.

— Как звать то тебя Сандже или Мандже и фамилия твоя? Я назвался.

— Ну, а меня Макарием Харитоновичем зовут, Морозов — моя фамилия, Семикаракорской станицы, — рекомендуется он.

— Ты, видно, на Германской не был, молод еще — переходят он на другую тему.

— Был, говорю, — в запасном полку.

— А теперь как?

— Теперь в своем калмыцком полку, командир взвода...

— Да ты разве офицер? То-то чисто говоришь...

— Нет еще не офицер, юнкер, но уже дважды представлен.

— Юнка-а-ры!.. — протягивает старик, — а что же без погон.

— Нигде не достану — говорю — да и производства жду скоро.

— Так, так, молодец. Теперь все у нас будет хорошо. Своим государством жить, Москва нам не указ. Не будут теперь наши казаки в Польше служить, у себя на Дону будут служить, я Таганроге, Сулине,

в Черкасском, — заговорил старик уже на „политическую“ тему.

Малый!.. раздалось наверху с капитанского мостика.

— Пя-я-яты!.. кричал кто-то внизу, у носа.

— Самый малый!.. командовал капитан.

— Перекат должно быть, — прошептал замолчавший Морозов.

В это время пароход слегка ткнулся об что-то мягкое и стал.

— Задний!.. Полный задний!.. командовал капитан. Наткнувшись на мель, пароход начал пятиться назад, принимать в сторону, ища выхода.

— Эх, замелел наш Дон, с каждым годом перекатов все больше, а в старину ни одного переката с самого Аксайска до Чыров не было, — сокрушенно заговорил мой гостеприимный старик.

— Ничего, шлюзуют, — утешал я его.

— Не шлюзуют, а дарыги войсковые переводят, — убежденно отвечал он.

— А ты, господин юнкер, знаешь чем загубили наш Дон?

— Нет.

— Ну, так вставай, идем, я тебе покажу.

Я встал и пошел за ним.

Привел он меня к отверстию над машинным отделением и, указывая пальцем на голого кочегара, выгребавшего в выбрасывающего угольную золу, тоном, не допускающим возражения, сказал:

— Вот этим и загубили они наш Дон и рыб разогнали...

— Малый вперед!.. командовал уже капитан.

Пароход с трудом перевалил перекат и свободно тронулся вперед.

— Семь!.. кричал снизу.

— Полный!.. раздалось в ответ.

— Есть полный! откуда-то глухо донеслось еще.

Пароход заметно зачастил винтами, ускорил движение, мягко убавлявая снятых пассажиров.

Высокое, темное небо, усыпанное мириадами искрящихся звезд, широко стлалось над Доном. Где-то впереди, далеко, далеко послышался гудок встречного парохода. Выпитое вино и теплый кафтан старого казака приятно грели мое тело и я блаженно засыпал.

С. Савицкий. (Бразилія).

ГОТУЙМОСЬ ДО БУРІ!

Заграйте бадьоро козачі бандури,
Будіть у неволі заснувший нарід.
Розбуджений вами, розібе він мури
Неначе б то води на-провесні лід.

І буря козачого гніву зірветься —
За вчинсні кривди, старі і нові...
І знов на степу кров ката поллеться...
Ой, будуть, ще будуть степи у огні.

Хай ворог над нами сміється, кепкує,
Що-дня нас у ярма, у тюрми жене, —
Та вибухне нагло, як поломінь, буря
І хмари ті темні мечем розжене.

Очиститься небо і сонце засяє...
Готуймося до бурі, готуймося, брати!
Козак у неволі кайдани пиляє:
Гей, буде вам плата за кривду, кати!

Гнат Макуха. (Югославія).

* * *

Коли б Ти, Господе, із неба
Спитав, чого нам грішним треба
Сіромам тут на чужині, —
Одно, сказав би, дай мені:

Народ мій вільним повидати.
Тоді... тоді — хоч і вмирати...
Оттак даремно, — чи не так? —
Сумує тут старий козак.

Другий багацтва все бажає,
А де хто з долею все грає...
А я про волю все гадаю, —
Неначе з волею дізнаю

Я щастя... й прийде Божий рай...
Багацтво, щастя. — Рідний Край! —
Як брат на волі долю має...
Сього душа моя бажає.